

Ленинградская правда

1988-13-январь

ПО ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛАМ

Вселенная Марка Шагала

ВЧЕРА в Эрмитаже открылась выставка книжной иллюстрации Марка Шагала из собрания музея.

Наш уходящий век выразил себя более всего в книгах, кинематографе, музыке. Лишь немногие имена живописцев звучат эхом, болью и радостью столетия. Среди этих немногих — имя Марка Шагала.

МАСШТАБ художника ощущим порою именно тогда, когда видишь лишь одну грань его искусства и когда оказывается, что эта «одна грань» уже открывает целую вселенную. Таковы книжные иллюстрации Шагала. За небольшой, тонко продуманной экспозицией эрмитажной выставки угадывается едва ли не весь художественный мир мастера, его умение сострадать, любить, не переставать в эту спасительную любовь верить, помнить о горе и никогда не забывать о радости.

Он работал с начала века почти до самого его конца, время сотрясало его душу, лишая привычных корней, любимых людей, опалая войнами, пожарами огромного мира и маленького Витебска. Но он хранил верность себе, целеустремленной силе фантазии и искусства, прозревающих вечное и светлое сквозь боль и душевную усталость.

Он знал какую-то тайну времени, Марк Шагал, недаром так часто писал он часы, чьи маятники вздрагивают в странных смятенных ритмах. Время в его картинах и гравюрах свободно переливается из начала жизни к ее концу и обратно. В поздние годы он постоянно возвращался к образам и приемам молодых лет, а в юношеских работах мелькают мотивы последних картин. Корни его искусства сплелись кроне, именно потому так часто меняются на его холстах местами начала и концы, верх и низ, так часто оказываются перевернутыми лица.

В поразительных иллюстрациях к «Мертвым душам» есть

эта магическая слитность времени. Художник следует не только за прозой Гоголя, но будто бы угадывает и поразительную ее реальность, и сложные цепи ассоциаций читателя XX века, пропуская все это вместе с тем сквозь собственное восприятие маленьких драм провинциального мирка, за которыми открываются подлинно бездны униженного сознания дурных или жалких людей, бесконечной печали уездной России.

Его мысль и воображение свободно проходят сквозь время, не реставрируя его, но делая достоянием сегодняшнего дня. Так, впрочем, любая сегодняшняя ситуация у Шагала обретает черты вечности. Это ощутимо в иллюстрациях к «Басням» Лафонтена, равно как в ошеломляющей красочности гомеровской «Одиссеи», в иллюстрациях к «Дафнису и Хлое». Суровое дыхание подлинной античности соединяется здесь с праздничной детской прозрачностью, столь присущей Шагалу во всех его вещах. Здесь — как и в сюжете «Цирк», как и в знаменитых его картинах, живут его «вечные темы»: любовь, нежность, надежда, смерть, размышление, игра.

В «Цирке» — так много от полотна на ту же тему, открытого любования циркачей своей грацией, своим умением верить в волшебство арены, счастья игры; та же сказочная «шагаловская лазурь», что отличает большинство его полотен. В этой голубизне плывут влюбленные пары, под ней же и содрогается земля, и стонут люди. Многие, наверно, удив-

лялись, увидев иллюстрации Шагала к книге Мальро, об испанских событиях — художник ведь не видел войну близко. Но он умел пропускать страдание через свое сердце, и его картина «Искушение», находящаяся во Франции, с рушащимися святынями, пылающим небом, со словно бы содрогнувшейся обожженной землей вполне выдерживает сравнение со всемирно известной «Герникой» Пабло Пикассо. В ней сливаются воедино представление о маленьком страдающем Витебске, о гигантском страдающем мире.

Витебск он помнил всегда. «Я не жил с тобой, — писал художник, — но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль... Мы, люди, не можем тихо и спокойно ждать, пока станет испеленной планета». Это сказано в 1944 году.

Здесь, в Витебске, он впервые ощутил и написал то единство великого и будничного, что стало вечным и важнейшим качеством его искусства. В крошечном мире можно увидеть все: таинственную и тревожную радость Рождения, неизбежность Смерти; можно открыть великие возможности иронии, улыбки, способной уберечь от унижения и страха. В Витебске стал он писать летающих людей — разве люди не достойны дерзости и светлой наивности собственных мыслей, мечтаний, снов?

На выставке не трудно разглядеть еще одну важнейшую особенность искусства Шагала. То, как многое в его творчестве превосходит и определяет поиски и находки живописцев, да и вообще художников XX века. Это и предчувствие грандиозных катастроф, и ошеломляющая свобода и тонкость ассоциаций, и сложная рефлексия, и ностальгия по детской простоте.

К этому надо прибавить и чуткость к искусству минувших эпох, и к современным художественным открытиям. Колорит Шагала вбирает в себя и некие изначальные цвета бытия, и простые соцветия обыденных предметов, и феерические оттенки светозарных витражей средневековых соборов. В его картинах и иллюстрациях классика — античность, Шекспир — соседствует с реалиями сегодняшнего дня. Искусственности в том нет. Но поистине надо было обладать могущественной индивидуальностью, чтобы, приняв в себя все это богатство, полностью — с юности до глубокой старости — остаться самим собой.

Художник, стяжавший не меньшую славу, чем Пикассо или Матисс, Шагал был чужд равно и страстному интеллектуализму первого и олимпийской гармоничности второго. Главным для него оставалась любовь людей друг к другу, культ любви, доброты, значит, и благодарной памяти. Мало кто писал людей с такой нежностью, особенно влюбленных и тем более — одиноких. Его искусство спасительно — как ни банально это звучит — именно своею красотой, которую он разыскивает в крохотных кусочках жизни, кажущихся жалкими праздному взгляду, но одухотворенными и таинственно притягательными, когда они воспроизведены Шагалом. Эренбург называл когда-то Шагала «сказочником, Андерсеном живописи».

Вероятно, его картины или гравюры и можно назвать сказками. Мифы ведь тоже чудятся сказками, пока, став взрослым, человек не открывает миф заново — как источник изначальных понятий о любви, страдании или счастье.

М. ГЕРМАН,
доктор искусствоведения